**Священник Илия Ничипоров**

**«Тавро Кассандры» Чингиза Айтматова как роман-антиутопия**

Поздний роман Ч.Айтматова «Тавро Кассандры» (1996) явил опыт художественного осмысления итогов столетия в зеркале утопического и антиутопического сознания. Диагностирование духовных и социальных недугов современности, «антропологического кризиса… техногенной цивилизации» [2, с. 91] в контексте эсхатологических интуиций [5, с. 10, 17] продолжает магистральную линию предшествующего творчества писателя и на сюжетном уровне соотносится с «антиутопическим аспектом романа «Буранный полустанок», связанным с планетой Лесная грудь и бегством на нее космонавтов с орбитальной станции» [3, с. 39].

Центральной в романе «Тавро Кассандры» становится *антиномия причастного к вечности природно-космического бытия и массового сознания, определяющего направление развития современной цивилизации*. Сюжетную рамку повествования образует доходящая до безумия, до «натиска разъяренной толпы» [1] реакция вначале американской прессы, а затем и мирового общественного мнения на открытое письмо из космоса бывшего советского ученого и нынешнего «монаха»-невозвращенца Филофея о выявленной им способности человеческого эмбриона инстинктивно «предугадывать» потрясения на предстоящем жизненном пути и противиться им, «подавать сигналы бедствия» ради их предупреждения. В своем исповедальном и одновременно претендующем на научную обоснованность послании Филофей предстает как мыслитель, вырывающийся из тисков господствующих идеологем и задумывающийся о высшей оправданности человеческого существования. В новейших научных экспериментах, по его убеждению, «открылась бездна, о которой мы не подозревали», поскольку и «в условиях постиндустриального общества» укорененное в человеческой природе зло не побеждается социальными преобразованиями, но «остается в генетическом лесу фатальным семенем». Разрушительные «клетки» зла, действующие в «кассандро-эмбрионах», расцениваются Филофеем как проявление «эсхатологического комплекса» человечества, «нашего самоотречения от своей предназначенности в мире».

Признавая придавленность собственного сознания грузом недавнего исторического прошлого «эпохи Сталингитлера», герой Айтматова определяет себя в качестве экспериментатора, который ощущает растерянность перед историей и современностью и пытается противопоставить этому чувству исследование «генетической структуры», приоткрывающей процесс «невиданного борения человека с самим собой». Доводы Филофея осознаются в романе как *антиутопическое развенчание массовых иллюзий современного человечества*: «Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет…»

Вместе с тем Филофей, как и проникшийся его идеями футуролог Роберт Борк, оказывается несвободным от издержек *антропоцентрической парадигмы* и имеющей давнюю историю *сциентистской утопии*. Вопрошая о соотношении между научным знанием и Божественным откровением и даже напрямую апеллируя к Творцу («Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного груза»), он склонен, однако, усматривать «завязь истории» исключительно «в архетипах природы», придерживаясь отвлеченного взгляда на «общую» религию и на Бога, не участвующего, как он полагает, в земных судьбах Своего творения: «В мо­ем пред­став­ле­нии лю­бая ре­лигия, не за­кос­невшая в упо­ении собс­твен­ной ис­клю­читель­ностью, мо­жет служить ре­зона­тором для мно­жес­тва го­лосов, как не­бо слу­жит прос­то­ром для по­лета разных птиц… И – го­ворят мно­гие – при чем тут Бог? Бог тут ни при чем. Бог дал на­чало бла­гос­ло­вен­ной жиз­ни. А даль­ше все ре­ша­ем мы са­ми, лю­ди, имеющие право сох­ра­нить или, нап­ро­тив, унич­то­жить за­вязь». Следствием подобного «деизма» становится прочувствованное Филофеем *экзистенциальное одиночество личности, мучительно ищущей выход из лабиринтов собственных рациональных построений*: «Куда нам деться от гласа кассандро-эмбрионов, говорящих в нас о нас?»

Динамика романного сюжета обусловлена у Айтматова сопряжением научных и мистических прозрений космического отшельника с болевыми точками современного индивидуального и общественного сознания. В экспозиционной части произведения развивается рефлексия пролетающего над Атлантикой ученого-футуролога Роберта Борка о границах научного разума, о мировом океане как «хранилище всемирного потопа» и образе космической беспредельности и непознаваемости мироздания. Созерцание героем «силы и воли движения китового стада», сновидческие интуиции о себе как «киточеловеке», угадывающем «тайную суть этой встречи» и участвующем «в этом гигантском заплыве», сквозные воспоминания о китах – «улавливателях подспудных сигналов космоса», транслирующих «реакцию мирового разума на земные события» и чутких к «незримой радиации зла и страха», – формируют *мифопоэтический образный план романа, его лейтмотивную структуру*.

Знакомство с посланием «космического монаха» укрепляет Борка в апокалипсических предчувствиях, в раздумьях о самоисчерпании исторического макроцикла, основанного на антропоцентрическом мировоззрении. Глазами современного мыслителя увидена здесь панорама мирового бытия, устремленного к «вечности жизни» и отягощенного трагическими сплетениями и травмами родовой памяти: «И ка­тилась Лу­на в чре­ве ночи, не­ук­лонно про­делы­вая свой из­вечный путь над Зем­лей... И мно­го за­чатий, сос­то­яв­шихся той ночью, бы­ли тот­час вов­ле­чены лун­ным при­тяже­ни­ем во все­лен­скую суб­стан­цию, в про­дол­же­ние кру­гово­рота веч­ности – рож­де­ния и смер­ти. Вечность жиз­ни во­зоб­новля­лась в чре­вах, в но­во­яв­ленных оп­ло­дот­во­рени­ях. И в каж­дом за­чатии той ночью уже бы­ли обоз­на­чены в пер­спек­ти­ве пер­со­нажи бу­дуще­го. И всем им, за­родив­шимся, бы­ли от­кры­ты две­ри сво­боды, две­ри рож­де­ния… Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в череде зачатий той ночью и генетические нигилисты – кассандро-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин, объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе-мачехе, объявились, чтобы с помощью филофеевых зондаж-лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу – просьбу разрешить им удалиться от жизни».

Прибежищу семейного очага Борка, где можно «позволить себе любимого белого вина», его уединенным научным изысканиям у компьютерного экрана противостоит *неутихающий, перерастающий во взрывную волну массовых движений гул мировой истории*. Взором совы на Спасской башне мифопоэтически воспринимаются фантомы коллективной памяти, призрачные фигуры вождей, по-прежнему будоражащих общественное сознание, слышатся агрессивные звуки «гремящих барабанов», «лязг военной техники», митинговые страсти 90-х на Красной площади и ее окрестностях, где всевозможные сталинисты, саддамисты, демократы оказывались беспомощными «щепками» в разрушительном водовороте истории, которая фантасмагорически проступала в «воскресших портретах кровавых диктаторов», но о которой, как ощущала сова, всем хотелось забыть, «ничего не помнить, ускакать от себя, ускользнуть от Бога… И опять чудилось сове, что доносится издалека дыхание китов, плывущих в океане».

*Оборотной стороной вождизма и посткоммунистических баталий выступает, по мысли Борка, и современная западная псевдодемократическая модель существования*. В чертах и поведении кандидата в президенты Америки Ордока ему видится напоминание о «лице экзальтированного Геббельса», а в иллюзорной американской мечте непременно иметь «ориентирующее всех других мнение» и при случае легко сфотографироваться в обнимку хоть с инопланетянами он распознает бессознательно-самоубийственную устремленность цивилизации к гибельным пределам своего исторического пути.

Манипулирование мировым общественным сознанием в ответ на грозные предупреждения Филофея ассоциируется в романе с тем, «что умел делать Гитлер на площадях, какие вызывать стихии». *Агрессивное «восстание масс», меняющее свои конкретно-исторические воплощения, но неизменно враждебное личности и любой попытке критического осмысления цивилизации*, изображено в развернутой сцене предвыборной пресс-конференции Ордока, санкционировавшей последующую травлю Борка под лозунгами защиты «демократии», «прав человека», недопустимости «нарушения нашей Конституции» и игнорирования интересов «простого человека». Управляемая «общественным мнением» толпа, которая «на новом перепутье» переняла «эстафету от Варфоломеевской ночи», учиняет расправу над Борком, в самозабвении поджигает на Красной площади вышедшую с антивоенным плакатом девушку, а во время телемоста с Филофеем заполняет площади Москвы, Пекина, Берлина, Рио-де-Жанейро, других крупных центров и наперебой выкрикивает ему приговор.

Мировая «демократия в действии», «одобрившая расправу над футурологом», осмысляется в романе как *влиятельная утопия современного человечества*, не успевшего оправиться от соблазнов вождизма и угнетаемого «инстинктивным страхом расплаты за вечно совершаемые грехи». В качестве противовеса этой силе в центр системы персонажей выдвигается *личность пассионарного типа*, не страшащаяся выхода к толпе, духовного или физического «самосожжения» ради обличения неправды – как Филофей, Борк, Юнгер, Руна Лопатина, как девушка, «объятая пламенем» на Красной площади… В основу миропонимания подобной личности заложена не лишенная признаков утопии *вера в перспективу нравственного «совершенствования» человечества под воздействием человеческих же научных идей и доктрин*. Как пророчит Борк, «если под влиянием филофеевских открытий изменится менталитет человечества, если род людской будет по-иному смотреть на себя, постоянно прислушиваясь к сигналам эмбрионов, то предрасположенность к негативной самореализации индивида может заметно уменьшиться… И если в результате превентивных усилий поколений, для которых тавро Кассандры будет не позором, а предупреждением и, главное, – стимулом постоянного самосовершенствования людей, исчезнет генетическая предрасположенность к негативной самореализации индивида, то оправдан и переживаемый кризис…» Ученым-футурологом выдвигается утопическая гипотеза об *«усовершенствованной», антропоцентрической «ассамблее мировых религий», призванной гармонизировать земную жизнь с помощью «универсальной», искусно сконструированной человеческим интеллектом «идеи Бога»*: «Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений – все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я – желанный паломник… Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера… Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей…»

В эпилоге романное действие обретает новый импульс, поскольку неожиданно в центр повествования выдвигается *предыстория Филофея – Андрея Крыльцова, написанная им самим*. Композиционная инверсия позволяет всесторонне осветить *авторский идеал личности, сумевшей, вопреки давлению среды, «совершить революцию в себе, беспощадную, безоглядную»*. Детдомовец, навсегда сохранивший инстинктивную, «телесную» память об оставившей его в конце 1942 г. матери, – Крыльцов вглядывается в симптомы своего одиночества, как «человек, оставшийся за бортом корабля в море»; постигает историческую обусловленность «трагедии детей, зачатых войной». Впоследствии, уже будучи обласканным властью ученым-эмбриологом и генетиком, он исследует «чудо зачатия», примеряет на себя мессианское обличие, без сожалений отказывается от семейной жизни, упиваясь перспективой неограниченного распространения репродуктивных технологий и собственным могуществом «производить искусственно конструируемых людей по своему умыслу и рабочему графику». Эта «рукотворная биология» оказывается включенной в секретные государственные планы по «реконструкции человеческой личности» и выведению «иксродов» – «анонимно рождаемых индивидов», не имеющих родовых привязанностей и способных до конца «бороться за победу коммунизма во всем мире». Как позднее осознает Крыльцов, «выведение нового типа бескорневого человека» служит залогом моделирования *мировой демиургической утопии*, когда «вторично, вслед за Адамом и Евой, изгонялись из мира Отец и Мать», а «неуловимая стихия зачатия и рождения» попадает под контроль уже не гениальных одиночек-первооткрывателей, но гигантских обезличенных корпораций. Отрезвляющее ощущение себя в качестве «подобия иксрода по воле судьбы», обличения, услышанные от заключенной Руны Лопатиной – «бывшей учительницы», «идеалиста-одиночки», осужденной «за хранение и распространение антисоветских материалов» и своеобразного «двойника» сгоревшей на Красной площади девушки с плакатом [4, с. 153],– совершают радикальный переворот в умонастроении Крыльцова, приводят его к космическому «монашеству», жертвенному проповедничеству и добровольному саморастворению в «межзвездном пространстве»: «Неужто и в космосе слышится ему, как гулко бьется сердце матери, несущей его в последний раз, прижимая к груди?»

Проблемное поле одного из закатных романов Ч.Айтматова насыщено многими утопическими концепциями, которые становятся здесь предметом напряженного художественного и интеллектуального осмысления. Человечеству, пребывающему в плену *поствождистских, технократических, сциентистских, псевдодемократических утопий*, в ценностной системе романа противостоит личность интеллектуала, мыслителя-нонконформиста, жертвующего собой, бесстрашно сокрушающего кумиров прошлого и в то же время исподволь воздвигающего *новую квазирелигиозную утопию* на пересечении пантеизма и «синтетической» мировой религии как плода «усовершенствованного» научного разума. Роман «Тавро Кассандры» примечателен и своими композиционными решениями, совмещением интимно-исповедального самораскрытия персонажей и глобально-исторического, вселенского масштаба авторского мировидения, соединением традиций реалистического письма и принципов мифопоэтического мышления.

**Список литературы**

1. Айтматов Ч. Тавро Кассандры // <http://bookscafe.net/book/aytmatov_chingiz-tavro_kassandry-552.html> Текст романа приводится по этому источнику.
2. Васильева-Шальнева Т.Б. «Апокалипсическая дилогия» Ч.Айтматова (романы «Плаха» и «Тавро Кассандры») // Филология и культура. 2013. №2 (32). С.89 – 93.
3. Коваленко А.Г. Чингиз Айтматов и русская литература ХХ века // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Литературоведение. Журналистика. 2015. №2. С.37 – 43.
4. Мискина М.С. Мотив жертвоприношения в романе Ч.Айтматова «Тавро Кассандры» // Вестник Томского гос. ун-та. 2003. Вып. 277. С.152 – 160.
5. Мискина М.С. Фольклорно-мифологические мотивы в прозе Чингиза Айтматова. Автореф. дис... канд. филол. наук. Томск, 2004.